

Анатолий Маляров Худший из пороков

*Я есть, пока за мной
следят.*

Епископ Беркли.

* * *

Из прошлогодних гастролей мне запомнились две случайности. По радио повторяли и повторяли о двух сбежавших из психушки аспирантах и на мой спектакль напросилась хорошенькая семитка студентка Женя. Потом она пришла в мой гостиничный номер.

Свидания повторялись, но только по ее строгому расписанию: каждый третий день ровно с двадцати трех часов. Связь с ней на стороне у меня была первая после женитьбы, потому смущала и томила. Я рад был уехать и забыть Женю.

1

Солнце бьет в спину. Тени вытягиваются,

гаснут. Плоское, длиннопалое мое отражение скользит по асфальту независимо от меня, усугубляет мое уныние.

Моя Лида говорит: натуру человека можно определить по размазанной им кляксе, по заваренному чаю, по плевку, по отброшенной им тени. В последнее время она все чаще определяет мой характер, и довольно грустно.

Я не размазываю кляксы, не плюю, от тени отворачиваюсь.

Отворачиваюсь и вижу Адама. Я не знаю имени этого прилично одетого, собранного и, вместе с тем, раскованного молодого горожанина. Встречаю его изредка среди иных приметных лиц. И не без опаски. Слухи доносят, что это оперативник, курирует культуру. Лучше свернуть в аллею, избавиться от преследователя и, попутно, от длиннопалой тени.

Адам наступает на мою тень. Сливаются с нею — две беды в одну. Он коротко раскланивается:

— Николай Андреевич Вилава? — говорит приветливо, как это делают знакомые, которые желают вам только добра и беспокоят лишь в самых необходимых случаях. Место безлюдное не выбиралось — это случай.

«На ловца и зверь...» Этот воспитанный, подстриженный всякий раз накануне, опрятный человек не мог так выразиться. Пословицу я

раскопал в своей вспугнутой памяти. И приготовил непринужденное восклицание: «За какие грехи?» Пока молчали, сложилось его прозвище — Адам. Адам — значит первый. Первый пришелец из таинственных, коварных служб, не рекомендованных при свете дня приятелями, в глуши ночи — радиостанциями из-за бугра.

Мысли прыгают, не позволяют понять самого себя. По Библии, страх — худший из пороков. Знаю, пробую отвязаться от него. Наша встреча — игра случая, без всякой связи с дальнейшим. Разговор необязательный. Товарищ до подробностей осведомлен о моей персоне, я не вчера с дерева слез... признаться в суете, миссия его в моем случае не совсем понятна. Людям вроде меня, то есть перегруженным творческими задумками, нравственными копаниями, семейными хлопотами, к тому же во многом с товарищами заодно, подобные «здравствуйте — прощайте» бытуют только в цепочке многих иных случайностей... и ужаса, тем более животного, до жгучего желания тут же опрометью помочиться испытывать не стоит.

Слепо узнаю опасность и так же незряче избираю защиту. Так подросток, зажмурившись, сучит кулачками мимо обидчика.

— Николай Андреевич Вилава? Не могли бы

вы, Николай Андреевич, зайти к нам? Ну, что ли, завтра, если вам удобно? В восемнадцать? — императив в форме позитива. Приказ в виде просьбы...

Выпаливаю ответ сразу, только бы избавиться:

— Отчего же! Репетиции закончены, вечер свободный, дома скажу — занят. Напомните адрес.

Глупо. Кто в городе не сторонится серого здания, забранного в чугунные решетки по первому этажу, с лепкой над оконцами. Понимаю, что дурковатый вопрос выдает волнение, прыскаю смешком. Адам поддерживает настроение. Он привык к поведению кролика в минуту внезапности. Впрочем, не желает, чтобы принимали его за удава. Он всего лишь наш защитник... от нас самих.

С долей церемонности удаляется, забыв напомнить свое настоящее имя.

Потом пришла ночь. Беспокойство возросло. Какая нужда во мне у столь сакраментальных органов? Кто люди, у которых возникла такая нужда? К чему приведет мое новое знакомство? Материальчик для новой пьесы ищут не тут, а вот путевку туда, где Макар телят не пас... без права переписки!.. Никакой юмор не утешает.

За полночь из притертого рядом ложа слышен шепот Лиды:

— Люблю, когда у тебя с главным перипетии. Меньше думаешь о женщинах.

Хорошенько же выглядит муж, если даже ревнивая жена понимает, что тут не следует искать соперницу.

Поволтузившись почти до утра, добрел только до двух вопросов, тех самых, что влетели в голову сразу: что из преступной биографии Вилавы известно товарищам, и как их осведомленность отразится на судьбе сына Антоши.

О том, что любой, взятый наугад гражданин не может быть чист перед нашими законами, паче перед их трактовкой узурпаторами, я не сомневаюсь. Та же Лида под локоть шепнула: у нас нет поступка без проступка. Вот и выискиваю свою вину перед отечеством, а не находя, придумываю, чтобы предъявить на потребу. Там не чистота нужна, а вина, материал для работы служебной мельницы. Лучше без давления признаться, отбыть и забыть. Закруглиться одним эпизодом, на больше меня не хватит. Не хватит терпения, снисхождения к идиотизму нашего общества, избранного мной амплуа своячка-бодрячка. Взорвусь на второй же беседе: «Я вас ненавижу! С пеленок! Нет, еще в чреве матери ненавидел! Мамины сталинские страхи через кровь переселились в меня! Как и ее жалкие попытки избежать вас, спасти дитя свое!.. Господи, да никто на меня не влиял! Вы сами

разбудили во мне животное... нет, человека!»
Святой Боже, как я красноречив в подушку!

Надо успокоиться. Истреплюсь, поблекну, завтра буду выглядеть моченым яблоком. Больше безразличия к окружающему миру, к себе тоже. Насколько лучше выглядят художники, учителя, работяги, которые с полным безразличием относятся к людям и к своей профессии. И живут дольше и лучше.

Стоп! А вдруг Лида, выспавшись, потребует объяснений волнению, потухшему желанию «на сон грядущий»? Что намолоть ей? Нужна еще одна версия. То есть две: для Адама и для Лиды. И обе убедительные. Все мои силы уйдут на сочинения для этих двух особ; на спектакли, а паче того, на мою скрытую слабость — сочинение пьес, ничего не останется.

Кому выгодны тысячи запретов, препон, табу, всякий день встречающихся на моей дороге? Я пытался хотя бы прояснить природу существования кучи ненужных организаций, тысячи дармоедов, которые истощают общество, разлагают мораль. Деликатно расспрашивал. Меня поправляли, потом стали обвинять в «непонимании самой сути», потом исподволь одергивали и превращали сообразительного, деятельного парня в удобного пентюха.

К домашнему пренебрежению солидной

супруги прибавлялось неуважение в театре. Добро бы гонение шло от аппаратчиков, карьеристов, а то ведь достают братья по труду, из зависти, из солидарности в некоей главной идее, соблюдая условия большой игры, идя в стройных колоннах. Доводят до психоза, порой приходит ощущение, что я не живу, а кажусь себе. Жутко. Оглянусь назад, я там не жил. Проскочил тридцать лет с хвостиком — и ладно. Холодею от мысли: что если в конце жизни вот так обрадуюсь: проскочил отведенное мне — и слава Богу? Вопросик. Ни в одном задачнике на последней странице на него ответа не найдешь. Как и на другой: зачем арканят органы? Вдруг к добру! Пачкают перед выдвиганием, метят грешком, чтобы легче было помыкать этим рыльцем в пушку. Приемчик хорош, если не для порядочных людей, то хотя бы не лишенных остатков совести. Окунут в свою грязь, пустят слушок и — уж какое тут инакомыслие! Не примут в свой круг даже рядовые обыватели.

Может быть... Черт знает что может быть!

И зачем меня выдерживают целые сутки? Для созревания худшего из пороков? Повели бы сразу, как на экзамен. Спросили бы самое трудное. Всевышний всегда посылал мне на экзаменах правильные ответы, не оставит и ныне. Вижу свое ожидание между жерновами, которые вертятся, расходятся, сходятся, должны молоть, раз уж они

существуют. Утешиться тем, что тысячи граждан за милую душу приняли двойную жизнь и не углубляются в философию, пользуются выгодами от нее, как домохозяйка — от электричества, газа, сплетен... Что было до возникновения органов насилия, к чему приведут эти органы человечество — плевать. Мысли накатывают селевыми потоками. Я уже начинаю думать, что не обстоятельства терзают душу, а потребность души терзаться находит себе повод... Я и забыл, что вчера в далекой самогонной деревне, в хате под стрехой умер добрый работяга, безгрешный грешник дядя Ладим. Бросить бы все — причина уважительная, — поехать, постоять над гробом, предаться бы раздумью о вечном, о долге, о главном. Куда там! Заполонили все мое существо мысли о скверне, о собственной шкуре. Понимаю, что в голод и холод, в дни благоденствия и в годы гонений, на суше и в море, среди мерзостей и пакостей, роскоши и наслаждений, и тысячу лет назад, и ныне, и тысячу лет вперед будут теплиться мораль и справедливость. Это, как любовь, неискоренимо. Знаю, но вот в эту минуту для меня главное — явиться в урочный час по скрытному, из-под полы, манку гражданина в штатском, главное — покориться, не напрячься, не выпасть из течения, которое вольно несет, держит на плаву, подпитывает тебя и чадо твое...

Завтракаю с показушным аппетитом, глотаю, не разжевывая, успеваю пошучивать и подгонять Лиду, только бы она не задавала въедливых вопросов.

Репетирую задорно, остроумно трактую сцену, горю. Бессонная ночь, страхи и надежды пробудили во мне энергию, снабдили двойной памятью. Я щедро подсказываю текст, кажется, помню всю пьесу. Предупредителен с мужчинами, люблю всех женщин, каламбурю. Страх умеет делать людей талантливыми.

Грудастая субретка Клаша после очередного моего комплимента настораживается, косит глазками:

— Николай Андреевич, вы меня сегодня пугаете!

Парирую в ее духе:

— Хищный самец вначале запугивает самочку, потом овладевает.

А сам думаю: поменьше бы промашек... шила в мешке не утаишь...

...Смеркается. Скорее всего, ранняя тучка заволакивает закат. Тени робко прячутся, моя — тоже.

Неприкаянно переступаю порог вестибюля. Чистые непокрытые ступени. Вверх — в кабинеты, вниз — к подвалам. К камерам, пыточным, или как они здесь называются? Куда мне? Подкатывает

дурковатый смешок, объяснить его, как и всю мою покорность, не могу. Не выйти ли на улицу, отсмеяться над этой вселенской игрой бездельников и явиться скорбно и величаво?

Выручает упакованный в форму мрачный юноша, вскинувший навстречу подбородок: вы к кому? — спросивший немо, видимо, по их артикулу.

На простенький вопрос ответить не могу, и впрямь, к кому я?

— Мне на восемнадцать.

— За вами спустятся.

Стало легче, значит, мне наверх. Сквозь витые перила вижу: скользят до блеска надраенные ботинки, потом отутюженные брюки, не сомневаюсь — мой вчерашний ловчий. Хочу его ненавидеть, придумываю отвратительные характеристики. Ничего не получается. Наречен Адамом, Адам и есть. Он именно такой, каким его мог создать Бог. Без малейших излишеств, только необходимое и целесообразное: где хорошо круглое, он кругл, где удобно для жизнедеятельности продолговатое, он продолговат. Характерных отклонений ни в чертах лица, ни в осанке нет. Современник с расхожего плаката. Таким молодого человека хотело видеть высшее руководство — и угодливые художники творили идеалы, а кадровые селекционеры подбирали штат.

Он не улыбается, однако в наклоне головы, при желании, можно разглядеть приветливость. Возникает желание расслабиться, даже пошутить, эдак в духе учреждения, куда занесла судьба: «Ну, как работается? Не мешают стоны из подвала?»

Язык во рту высох и разбух, противнее ощущения молодой мужчина вряд ли может испытать. Сухой пар спускается по спине. Не оттого ли, что Адам принес с собой весь груз, весь авторитет организации, которую представляет. Не произнося ни слова, под бременем всех своих полномочий он разворачивается. Я сам для себя команду: «Следуйте за мной!» Поднимаюсь следом за хорошо подбитыми, с профилактикой, каблуками. Силюсь сохранить гонор, хотя бы независимый вид. Это тоже оборона.

Вчера товарищ не представился, имени-отчества не назвал, видимо, считает, что куратора из такого уважаемого учреждения обязаны знать в каком-то там театре. Хуже, если у человека убеждение: охваченный органами гражданин обязан сам выяснить, как зовут его мучителя, так же, как сам должен опровергать обвинения, которые ему предъявили. Я не хочу ни выяснять, ни опровергать. Я из другого теста, надо — сам придумаю имя, обойду эти рифы подальше, даже зажмурюсь. Не вижу, значит, их нет.

— Посидите, будьте добры, здесь.

Не кабинет и не приемная. Ниша, закуток с жесткой, обшитой дерматином скамьей, укрытие за поворотом коридора, в полутьме.

— Побеспокойтесь, чтобы вас не видели.

Куда уж дальше! Побеспокоились без меня. Просто высовываться не стану, искать пути для возможного бегства тоже. Мысль о бегстве не приходит в голову: в стороне маячит, но в голову не впускаю. Боюсь худшего. Боясь худшего, мы накликаем много еще худшего.

Оперативник удаляется степенно, с загадочной целью. Остаюсь один и только сам себе могу задавать вопросы. Например, такой: что станет доминантой предстоящей беседы? Хорошо или плохо для меня все то, что происходит? Ну хотя бы то, что посадили в закуток и велели не высовываться? Зачем прячут клиента? Тут все свои. Чтобы не запомнил в лицо сотрудников секретной службы? Хуже. Из кабинета в кабинет, поди, шастают осведомители, стукачи, или как еще их называют в народе? Их и впрямь желательно оградить от стороннего глаза, иначе им трудно будет «работать». Вот повяжут меня и тоже будут оберегать, так что следует с пониманием относиться к служебной конспирации.

Наблюдения успокаивают, ничего не попишешь — жизнь. Наша жизнь. Все-таки надо отдать должное: в этом заведении дело поставлено,

не то что в театре. Видимо, хорошо платят за счет нужд производителей и их семей.

Две минуты спустя звучит голос как бы из стены. Сохраняя самообладание и чуть ли не капая в штаны, поворачиваюсь, разыгрывается воображение: охмурают! Ушел влево, явился справа, резкий окрик. На самом деле, ничего надуманного; обыденно зовут в кабинет на третьем этаже. Поводырь шагает впереди, руками не размахивает, головой не вертит, ни единого лишнего слова. Однако по всему видно, что проделывает он все излишне ритуально, с налетом торжественности. Никак подражает кому-то? Мы оба лицедеи. Я изображаю святого угодника. Можно позировать для иконы. А хозяин — цивилизованного инквизитора.

Ба! Да мы оба новички!

Я в роли кролика, Адам — в роли хирурга. Худшая из бед моих — интуиция. Она обгоняет нестойкий разум, порой открывает такие пласты бытия, которые ни осмыслить, ни объяснить себе я не в состоянии, немею — и только. Продолговатая комната с двумя столами, поставленными углом. На короткой столешнице горбатый и невзрачный, отечественного производства, телефон. Пустая пепельница. Хорошо тренированная кисть подхватывает ее и отводит в сторону.

— Не курим.

Как выговорено! Даже незначительные детали, касающиеся вашей особы, здесь хорошо известны.

— Прошу, приземляйтесь.

Наверное, со стороны слышно, как постукивает кровь в моих висках, и мысли слышны: скромно живут, аскеты, слуги. Скромники, аскеты, слуги. Застрял между этих трех слов, так и приземлился на краешек стула. Заставил ноги вытянуться под столом, откинулся на спинку стула, изобразил второго хозяина в кабинете.

— Когда заходили к нам, осмотрелись? Хвоста не заметили?

Еще задача. Что в таком случае выгодно отвечать? Не замечен посторонними, и пускай экзекутор уверенно продолжает операцию? Или взят на заметку пристальным взглядом странного прохожего и в случае излишне долгой задержки — на сутки, на двое, на сколько им заблагорассудится — возникнет опасность слухов. Мол, знают в городе, куда зашел молодой человек, кажется, режиссер, не так их много в городе, чтобы не знать. Зашел и не вышел. И над Серым домом с решетками должен витать страх, не за морями да лесами стоит он, а в нашей родимой, прибитой жутью державе. В последнюю секунду мне стало совершенно безразлично все, кроме трех слов, слитых воедино: скромники — аскеты — слуги.

Срабатываю на оперативника:

— Никто не видел.

Слукавил, в порядке защиты подставил глаз, надеясь, что этот ворон в цивильном не клюнет. Пускай для первой или одной из первых работ Адама все складывается превосходно. Ничто не раздражает начинающего оперативника, потому покладистость и согласие имеют силу.

Доброжелательно, словно давний друг, Адам спрашивает о таком, что заставляет меня вздрогнуть всем телом. Вальяжность моя исчезает, пульсация в висках прекращается.

— Как домашние? Сын?

Сын Антоша — не утихающая боль моя. Тощий девятилетний старичок, с пеленок напичканный ворохом отрывочных сведений по истории и технике, географии и кулинарии, литературе и астрономии; он держит настольной книгой трехтомник энциклопедического словаря, на стенах во всю ширь распял физическую и политическую карты мира со своими карандашными дополнениями. На потолке подклеены цветные фотографии облаков: перистые, кучевые, грозовые. При поразительных познаниях Антоша в обиходе беспомощен. Не ткни пальцем в тарелку, посидит над нею, пояснит разницу между Новой Каледонией и Старой и не поест. В классе дерзко отстаивает свою точку зрения, а на

переменке уступает игру любому сверстнику, что понаглее. Я неизменно ношу с собой жизнь сына. Всякое упоминание о нем настораживает, призывает меня к защите. Любой ценой... И вдруг в этом зловещем доме:

— Как домашние? Как сын?

Я слышу реплику так:

— Вы хотите, чтобы с вашим Антошей было все в порядке?...

2

...— Как домашние? Сын?

Я услышал реплику так: «Вы хотите, чтобы с вашим сыном было все в порядке?»

— Уже избрал профессию? — вопрос понятен родителям. — Шофер? Пограничник?

Как тут ответить, чтобы не навредить Антоше? Подобный выбор не для маленького мудреца. Он такое примет за шутку. Его удел придет позже и будет взрослым. А звонка от таких дядь, как Адам, достаточно, чтобы обратить его в дым.

— Одаренный мальчик, — осведомленно роняет мучитель.

Не пустой звук. Предупреждение: в случае заметной ошибки отца никакой дар сыну не поможет. Плевать на декларацию: сын за отца не

отвечает.

Расположившись удобно и надолго, с лопатками на спинке гнutoго стула, с вытянутыми ладонями на столешнице, Адам не без удовольствия замечает:

— Для вашей семьи — удачный год. У жены прибавка к зарплате, у вас, в театре, намечаются продвижения...

Приятно слышать продолжение. Если бы только это говорилось не в застенке.

— О жене знаю, о продвижениях — не слышал.

— Кое-какими сведениями мы располагаем...

Недомолвки с долей бравады. Кнут и пряник для меня. Но это промашка в расчете на полную дремучесть подопытного. Оперативщик выказывает себя молодым, не обжившимся в хищной ауре. Козыряет впопыхах. И это после волчьей хватки с сыном! Замнем промах.

— Вроде бы главный, Вадим Вадимович, собирается уходить... возможна ротация...

В горячке забываю, что «ротация» — круговое движение, по словарю, а у нас — замена одного оболтуса другим, близлежащим, так, чтобы ничего не менялось для кукловодов сверху.

Адам хватает лишку. Задабривает некоего режиссера и драмодела, которого велели обласкать и приручить. А перед ним еще и мозгльк,

отравленный многими бедами, припугнутый и готовый на уступки ради сына.

— Разумеется, решает управление культуры, но мы краем уха слышим...

— Ваш край уха стоит двух из управления, — беспардонно льщу в целях самообороны. — Мне даже неудобно...

Половину моей фразы Адам пропускает, вторую — переиначивает:

— Неудобно? Оставьте. В тридцать с небольшим лет получить коллектив!

— Я не имею права. Беспартийный.

Видимо, мне очень уж хочется продвижения. Но не карьеры желаю я в эту минуту, мне надо получить хоть что-нибудь взамен моей податливости. Хочется в творческой номенклатуре стать кое-кому не по зубам. До того жажду, что начинаю кочевряжиться. Оперативщик не позволяет мне усомниться:

— По опыту работы, по способностям... Бывают исключения. Например, вы.

Саднит мысль: мне предлагают взятку. Господи, век прожил бы в своем затхлом театрике, в своей осмотрительной семье, на харчах из пыльной лавки и не знал бы, что вот такие «человеки со стороны» ворочают делами, имеющими решающее значение для штатных расписаний, творческих течений, судеб отдельных

граждан, которые и поклоном их не удостоили бы. И так запросто.

Чтобы приобрести штаны вместо изношенных, обычно мне приходится откладывать три месяца, недельку-другую выказывать перед женой всю непригодность тех, что на мне, потом искать товар подешевле. Быт интеллигента. А тут: вздумал — попроси, дадут. Не попросить ли немедленно джинсы? Старые прожег кислотой, заряжая аккумулятор «Запорожца» богатого тестя. Дадут и запишут по важной статье государственных деяний. Если товарищи умеют ловко, артистично, так что и отпечатков пальцев не сыщешь, сломать особь, то они с успехом сумеют ее облагодетельствовать. Во мне пробуждается богопротивное чувство — алчность. Это не желание, имея кое-что, получить больше, а — имея много, получить все! Соглашаться с намеками Адама неблаговидно. Выпирает подлянка. Даже если прикинуться барашком: не моя инициатива, ради блага дела, никому не в ущерб. Ведь где-то согбенная, голодная колхозница тупой тяпкой пропалывает свеклу, вечно простуженная доярка в четыре утра подмывает корове вымя, не доживающий до пенсии тракторист катит, окутанный тучей пыли от лесополосы до лесополосы за мешок неочищенной пшеницы... Их заработки перечисляются и на высокую оплату

секретных служб, и на гонорары театру, развлекающему всяческие службы.

Подло, никакой философией не отмоешься. Я не нахожу, в каком тоне продолжать беседу. Выручает Адам:

— В дальнейшем из повседневных ваших манер придется убрать фривольность...

Это когда — в дальнейшем? При продвижении по службе или при вступлении в услужение к оперативнику?

— ...эту юношескую категоричность оценок, некоторую не-взвешенность...

На меня подуло сквознячком. Возникает настороженность, кожей чувствую: в кабинете присутствует третий. Или микрофон, видеокамера — поеживаюсь. Утешаю себя тем, что микрофон записывает и то, что говорит Адам. А он намекает на мое пренебрежение к моральному поощрению трудящихся вместо оплаты рублем. Самим-то им рубли выплачивают за всякую пакость без задержки. О моих жалких попытках мыслить и выразаться неординарно, то есть не так, как принято в передовицах газет...

Ничего, ничего, говори, свет мой ясный, для тебя этот вечер — тоже экзамен! Холодею от намека, что органам известно: у молодого специалиста — следует добавить: перспективного, — более значительные

заблуждения. Вилага слеп и глух к широким нуждам нашего общества. Слушает не наше радио...

Воздух зябнет, дышать трудно. Хочется возразить, но в этих стенах не ждут и не допустят возражений. И получается, что я веду два диалога одновременно: вслух и про себя. Вслух я предаю святыни, а про себя держусь молодцом, понимаю и оцениваю ситуацию достойно. Буду нежить себя не реальной беседой, а внутренней. Тут я волен мыслить. Про себя говорю Адаму: «Меня сломали ночные зарубежные передачи больше, чем вы хотели бы. Они запугали ужасами ваших застенков и не вооружили меня на борьбу, а возделали мой характер под вас».

Внешнюю беседу хочу повернуть так, чтобы сделать ее единственной и завершить все наши дела в один присест. Но поучает он:

— Ваши коллеги не прочь посудачить в кулуарах о вас. — И с легкой издевкой по адресу распущенной актерской братии: — Сочинители, лихачи, балагуры. Не стоило бы давать им пищу. А вы подбрасываете, и говорят, мол, у Вилагы недержание мыслей, навешивание ярлыков.

На мой, по-видимому, открывшийся рот впервые появляется легкий укрощающий жест ладонью:

— Полагаю, что это не так. Или не совсем так.

Но коли говорят и вам известно, что говорят, и неприятно, как всякому советскому человеку, почему не опровергнете? Известно, если не опровергнешь, значит, соглашаешься.

С далекого берега мне метнули конец каната: хватайся, пообещай опровергнуть — отпустят. Неужто за тем и звали?! Но проклятая натура, мне непременно хочется достойно возразить: если я крою халатность, вселенскую некомпетентность наших власть предержащих, их проффосов, если я сомневаюсь в их моральной чистоте и справедливости, то, извините, я не считаю, что говорю неверные вещи. Сам видел, как подвозят дефицит на дом большим «пурицам»...

Надо бы возразить, но вовремя спохватываюсь. Здесь не перечат; чем убедительней возражение, тем возражающему хуже. И этот ли умница и красавец не знает, кто и чего стоит в нашем мире! Он сам потчуетя от номенклатуры. С покладистой улыбкой лукавлю во все тяжкие:

— Хвалу и клевету приемли равнодушно.

У него ровные, крепко посаженные зубы, впереди крупные — конские, сказала бы независимая Лида, если бы, не приведи Господи, увидела нас с глазу на глаз. Мимика Адама скупа, в выражении малоподвижных, цвета желудей, глаз сквозит бездна терпения. Вечер, ночь побеседовать этому психоаналитику ничего не

стоит, слушать бредни говорунов, выуживать из них крупички информации и, нанизывая их одну на другую, сопоставлять с рассказами всех предыдущих посетителей его «кулуаров». Когда я услышал «коллеги в кулуарах», я оценил находчивость начинающего оперативщика. Далеко шагнет на своем поприще молодой человек! Но чтобы уверенно подниматься, ему нужны ступеньки, одна из них — я, Николай Вилава, — крепкий орешек и не заваливающий клиент. Меня раскусит — «пятерка» по труду и шажок наверх. Мелкая натура, та самая, которая минуту назад жаждала хлестко возразить, тут передумала и соглашалась подставить спину, пускай товарищ ступит единой ногой и отпустит с миром. От такого противоречия стало жарко, на лице, разумеется, появилось голодное выражение. Знаю без зеркала, насмотрелся в жуткие минуты жизни. И смиренность моя, и податливость проистекают от множества жутких минут в моей жизни. Добрая мера парализующего, енотового ужаса наваливается на плечи от сознания собственного бесправия. Сколько раз убеждался, что судьбой моей распоряжаюсь не я, мной помыкают какие-то силы, и способы управления хранят в тайне. Никогда не знаешь, кто дернет за ниточку и куда поведет... Визит входит в должную колею. Адам не спеша готовит вопрос, наконец, доверительно

понижает голос:

— Однажды вы не переехали в столицу.

Почему? Телепат. Ясновидящий!

— Я? Ах, да! — тяну время, сообразил, что сознаться не опасно, потом переадресовываю вопрос:

— Не лучше ли об этом справиться у моих руководителей?

— Они не знают.

— Знают. Кто же не пустил меня?

— Что значит «не пустил»? Вы что, их собственность? — Неподдельное возмущение. — Вы не их дитя малолетнее и не рядовой их батальона. Следовало настоять. В конце концов, поехали бы сами и поступили работать туда, куда хотелось. Вас же приглашали.

Если бы не искренность, если бы не искренность и сочувствие, я подумал бы, что Адам издевается, таким хитрым образом напоминая, что человек предполагает, а власть располагает, а если жестче, то: верши свои дела, да не забывай про удила!

— К приглашению у нас еще столько приложений! Не соглашалось начальство на перевод — и приглашению грош цена. А когда я позвонил в столицу, мне намекнули, что меня обогнало телефонное право. Я был представлен ни больше ни меньше — диссидентом.

Адам вздыхает и качает головой:

— Вот видите...

Сокрушенно шевелит своей красивой, без изъянов, головой, обескураживает, вызывает на откровенность, можно утратить бдительность. Надо собраться. Ропщу:

— Что я должен видеть?

Мягкий взгляд с надеждой успокоить:

— Опрометчивая оценка факта, неосторожная реплика — и какой-нибудь доброжелатель делает неблагоприятный вывод. — Рука отечно поднимается, отворачивает полу пиджака, щупает в кармане, ни с чем возвращается. — Не курим.

Догадываюсь, что не курит мой собеседник только сегодня, чтобы не искушать меня и подпитывать волю затравленного. Учат этому в спецшколах или не перевелись еще столь обходительные люди?

— Не было у меня слишком необдуманных оценок. По роду работы я бываю с выездными спектаклями в глубинке, наблюдаю запустение в селах, встречаю толпы немощных дедушек да бабушек, отчаиваюсь, сопоставляя то, что вижу, с тем, что играю на сцене и читаю в нынешних книжках, делюсь с коллегами...

— И комментируете. — Это слово прозвучало холодно, отчужденно. Следующее с досадой: — Критикански.

Я должен очнуться, вспомнить, где я и кто передо мной.

— Если моя критика приобретала вид критиканства, я прошу прощения, заводился.

— При ветеранах партии, пенсионерах стоило ли допускать шальные выпады?

— Вы знаете больше, чем случилось на самом деле.

— Такова работа, — не слыша меня, парирует Адам. — И все же немаловажно: зачем при уважаемых людях? Дразнили их, сознайтесь?

— Нет.

Почему «нет»? Ведь «да» сильно смягчало мое дело, скрадывало злой умысел. Но в течение последних минут во мне преобладал наблюдатель, я не заметил, как сидящий во мне фрондер включился в игру и вот подвел. Ему, видите ли, не хотелось, чтобы я походил на всякого, сидевшего на этом стуле до меня, на трусливого и угодливого клиента. Наблюдатель вмиг спрятался, страшно стало мне. Я заерзал.

— Я оставлю ваше возражение без внимания, — с легким сердцем успокоил меня довольно-таки толковый молодой товарищ. — Нам самим изрядно надоели подобные старатели. Пишут, звонят, повторяя друг друга и сами повторяясь. Потратишь уйму времени, проверишь: сигнал выеденного яйца не стоит. Не те люди

помогают важному делу. Не умные, не объективные, стараются не ради человека, а в угоду древним страхам, пошлым привычкам. Не видят, как меняется жизнь. С такими и мы становимся слепыми, да, да! А уж государство — тем более. Судит о конкретном человеке порой поспешно, прибегает к карательным мерам. Согласитесь, получается некачественная работа. В укор и нам, и... — Вдруг крайне настораживающий вопрос: — Вы в курсе, что означает понятие «сексот»?

Излишне напрягаюсь, чтобы постичь, куда вел последний монолог оперативника, я спасовал и выпалил:

— На школьный лад: доносчик, ябеда.

Лоб его нахмурился, сокрушенно наклонился: нелегко с начинающими.

— Как можно изуродовать, опошлить достойное слово! Полностью оно звучит так: секретный сотрудник — сексот. Человек, который несет на своих плечах высокую гражданскую миссию. В школьной хрестоматии мы читаем стихи о товарище Нетте, на досуге рассказываем легенды об Абеле, стар и мал по несколько раз просматривают фильмы о Штирлице. Каждый из них сексот. Разве повернется язык назвать их ябедами?

Артистическое начало в Адаме сидит крепко. Надо ему сию минуту забыть о стукачах и мелких

доносчиках — он забывает, несет затасканные легенды и верит им. Верит в благие намерения всех бойцов невидимого фронта, к когорте которых принадлежать — великая честь. Поверхностным чувством я отзываюсь на его речи, хотя школьное просветительство мне претит. Жажду справиться, действительно ли Адам настолько предан органам или пристроился по знакомству на непыльную работу и служит без веры и правды, зарабатывая детишкам на молочишко. Пора бы мне упростить игру, обратиться по имени-отчеству, но как его величают?

Паузы, чтобы задать столь церемонный вопрос, не находится. Уместней этот:

— Скажите, где вас готовят? — Это «вас» звучит здорово, побуждает добавить: — Работать приходится с людьми. Psushe — не болванка и не кочерга.

Номер проходит, вопрос нравится, на него кратко и емко отвечают:

— После заурядного института — армия, потом отбор по ряду критериев. Ну... — с долей скромности потупленный взгляд. — Ну, специальная школа, практика.

Что такое заурядный институт, я знаю, хотя мой не был заурядным. Однако далеко не в каждом институте учат наматывать горячие кишки гомо сапиенса (человека глупого) на холодный и

ворсистый кулак юс стриктума (строгого права). Слово «армия» вызывает мысли о казармах, пропахших застарелым потом, об издевательствах «дедов» над «салагами», далее, про пьянку офицеров, блядство их жен, про несунув-прапорщиков — такое заведение тоже не лаборатория для взращивания душевных тонкостей и философских глубин.

Пока длится пауза, а может быть, ее и нет, просто винтики в голове завертелись с утроенной скоростью, в общем, в несвежем уже мозгу, умело прибитом и разглаженном Адамом в течение двух часов непрерывной, деликатной пытки, во мне зашевелилось нечто противоположное первому негативному всплеску, и я думаю: а почему бы в удушливой, аморальной атмосфере не взрасти высоким помыслам?

В страданиях и раздумьях, как протест, пробиваются на свет Божий и крепнут природы и там. Потом учатся не по принуждению, равняются на великих и встают против рутины, грязи, безнравственности. Может быть, такие Адамы воюют за мораль и добро. В открытую они не могут, не готово общество, слишком большая армия (в прямом и переносном смысле) противостоит им. Потому и идут вот в такие секретные организации. Да, да, именно в удушье и насилии прорастает протест.

Далеко ходить не надо, я наблюдаю небрежность, корыстолюбие, показуху заметного большинства. Любая, даже дельная, инструкция сверху обрастает поправками, как работать, чтобы не работать, как привести рабочее время в соответствие с личными потребностями.

— Люди не видят отклонения от нормы, когда тратят рабочее, оплаченное государством время на удовлетворение личных потребностей.

Да-а! Если я слышу голос Адама, а не привидения, то страхи мои не напрасны. В который раз он отзывается на мои мысли.

— Саботаж стал бедствием.

Говорит он для себя, тем глубже вдирается в мое сознание. Я мямлю, бормочу что-то в том духе, что ведь наше безделье кто-то отрабатывает, старуха с тряпкой или каменщик с мастерком. Он соглашается. А начинаешь воевать с таким положением, шумят: подавляешь свободу.

Человек, которого я почитаю хранителем безобразного, уродливого положения, вдруг заговорил моими словами. Если это не уловка, то можно прийти к выводу, что в мире что-то произошло, а я прозевал. Адам все больше интересуется меня. Пока он зондирует мою душу, а ну-ка присмотрюсь я к нему.

— Простите, вылетело из головы. Как ваше отчество?

Имя, можно подумать, у меня из головы не вылетело. Маленькая хитрость — называя отчество, корректный опер начнет с имени:

— Сергей Павлович.

Пошарив взглядом по стенам и не найдя часов, я украдкой поддернул рукав, прижав руку к боку, и посмотрел на собственные ручные. Два часа минуло. Ничего себе! Собеседник не мог не заметить неуклюжего движения плечом и косога взгляда. Понял, что клиент маленько притомился и можно подбросить хворосту в квелый костер. Вальяжным жестом Адам, то есть Сергей Павлович, положил перед собой листы бумаги, усеянные мелкими буквами. Откуда вынул, остается загадкой факира. От моих глаз они лежат на расстоянии полуметра, прочесть вполне доступно, гляди, на это и рассчитывает товарищ. Впрочем, по другую сторону стола сидит не юноша — излишнее любопытство повредит отношениям. Я поглядываю на окна, совсем погасшие, на лицо оперативника, в полутьме чуждое и опасное. Ноль внимания на бумаги. Придет время, сам подаст «документы» и предложит прочесть. Пока пренебрежем ими! Вот начал:

— В одной из характеристик... — упругие губы пожевали, выражая презрение. — Написал один из ваших руководителей. — Презрение относится к автору характеристики. — Писал он в

высшую инстанцию, разумеется, не подозревая, что копии имеют свойство тиражироваться.

Развитая кисть дотягивается до выключателя. Свет падает отнюдь не снопом и не в лицо бедному ответчику, а ровно, мягко рассеивается по всему пространству помещения, даже не сразу уловишь местонахождение источника. Последние слова и подсветка, очевидно, дают понять, что из поля зрения этого дома не ускользает и самая ничтожная деталь бытия. Вон с какими округлившимися бровями и как запросто читается фрагмент отзыва о моей персоне. «Имеет склонность к интриганству»...

Нелепость до того очевидная, что я моментально соглашаюсь:

— Заметная склонность! — И, не давая округлиться вслед за бровями его глазам, бойко продолжаю: — Да, да. Вот примеры. Есть у нас в штате заведующий музыкальной частью Корецкий. Повышенная нервная возбудимость, активность за пределами нормы. Ежедневно он должен кого-то развенчивать, выводить на чистую воду. С одним условием: заочно. Такой-сякой говорит такое-сякое, а делает еще хуже и все не то, что делает все прогрессивное человечество. Начальство привыкло к такому его поведению, даже извлекает пользу. Он коммунист и по уставу имеет право критиковать. Надоело мне это до чертиков. При его появлении я

покидал кабинет, но он шел следом и хватал за фалды. Как-то врывается ко мне и с порога: «Сидяев за кулисами выкинул такое!..» В порядке избавления я молча набираю телефон брехаловки, попадаю на Сидяева и выразительно говорю: «Олег, зайдите ко мне. Здесь Корецкий на вас говорит такое!» Оратор потух, побледнел и — в дверь спиной с возгласом: «Интрига!»

Рассказчик и слушатель улыбаются в той мере, какой требует ситуация. Понимание и поощрение получено:

— Еще можно? Артист Дробот у нас борец за творческое совершенство. Входит как-то: главный то-то и то-то. Распаляется. К тому же гундосит и покашливает. Призывает к солидарности и походу. Я, чтобы отделаться, говорю на полном серьезе: «Коллега, ты не в форме, а я еще не проникся чувством справедливого негодования. Приходи послезавтра, я проникнусь, навалимся вместе». Мне показалось, что коллега уловил мой ход, даже улыбнулся. На поверку, в тот же вечер я получил замечание от главного Вадима Вадимовича за подстрекательство молодежи к групповым интригам.

Мне больше нравится мой рассказ, чем сама ситуация, Сергей Павлович улыбается.

— Видите, какие люди нас окружают. Детский сад!

Я глухо думаю, так глухо, чтобы мои мысли не долетели до пронизательных мозгов собеседника: «Какие отцы, такие и дети. Дрянь сидит наверху, дрянь воспитывает — внизу». Не приведи, Господи, расслышит и это!

— Несомненно, — отвечает он своим мыслям, а я краснею и вскидываю глаза. И, вперившись в мои зенки, Сергей Павлович говорит: — Вам кажется, что вы их раскусили, а по сути, они пользуют вас по своему усмотрению. Простите за грубое выражение, пользуют ради побега с репетиции или рюмки водки. Однажды вы, совершенно неосознанно — мы твердо уверены в том, что вы не ведали, что творили, — так вот, вы помогли преступникам. Не хмурьтесь и не вздрагивайте.

Наверное, я помрачнел и пошел мелкой дрожью.

— Да, да. Гастроли. И... Женя.

Боже, какой же я простак, если так отчетливо можно читать мои мысли! Но Адам, то есть Сергей Павлович, великодушен, он не собирается извлекать из моего состояния максимум. Улыбается, словно чему-то постороннему, мало касающемуся нашей беседы:

— Вас использовали как прикрытия. Женя с подругой работали в далеком хуторе, кормили, развлекали беглых. И отдавались им. Это были

аспиранты их университета. А мы, то есть наши коллеги, не могли выйти на диссидентов, потому что у Жени всегда было алиби. Она встречалась с вами.

Дав мне уяснить, переварить сведения, ужаснуться коварству столь простоватой с виду, столь непосредственной девушки, оперативщик завершает мое истязание.

— А вы полагали, что встретили истинное чувство, получили Прекрасную принцессу. Повторяю, вы ни на йоту не виноваты... Но как важно, чтобы рядом оказался наш человек, чтобы сориентироваться, кто есть кто, и не дать нанести удар по невиновному.

И снова пауза, чтобы я мог прояснить для себя поворот мысли, выныривая из уймищ сведений, воистину потрясших меня. Мои ошалелые мозги едва улавливают, что мне что-то предлагают, деликатно, издали, как вариант, как необязательный совет. Даже уходят в сторону:

— Мы обходимся, управляемся сами... Правда, издали трудновато. А мыслящие, трезвые и дельные товарищи, те, что рядом работают... Те могли бы вмешаться, исподволь корректировать поступки, даже некоторые высказывания. Сколько бед можно предотвратить для тех же несмышленишек! Можно стать выше над этой мишурой, над мышинной возней. И не допустить,

чтобы карающие органы вслепую ударили по грешным и праведным. Отделять, по Святому писанию, злаки от плевел. — Еще дается минута на размышление. — Если крайне нежелательно вмешиваться непосредственно... так сказать, откровенно, можно информировать... — Сказано, между прочим, мягко, не для меня, избави Боже, оскорблюсь. — А компетентные органы всегда помогут невинным людям... В работе, вообще.

Если обдумать этот бесконечный диалог ночью наедине с собой, можно прийти к мысли, что вряд ли Сергей Павлович с такой беспардонной прямоотой вербовал меня.

Говорились и другие слова, за дверью чудились шорохи, несколько раз в течение вечера он поднимал не звеневший телефон, слушал по полминуты, скрывал перемену настроения. Я задавал себе вопросы: откуда идут сигналы снять трубку, почему я не слышу речи с другого конца провода, кто нас слушает и корректирует беседу? Раздражала звенящая тишина в паузах, мне казалось, что подслушивают нас и записывают.

И встреча наша только предварительная, когда-то будет главная, уже по материалам нынешних моих высказываний, которые проанализируются опытными сыщиками, а то и электронными машинами. Держава потратилась на оборудование таких кабинетов прежде, чем на

мини-трактор садовнику или огороднику.

Адам был разным: то собранным, то раскованным и приятным. Я постепенно попадал под непостижимый, добродушный, порой игривый гипноз этого вербовщика, он вырастал в моих глазах, явно выигрывал в сравнении со всеми знакомыми мне людьми его возраста.

Я силюсь не подчиниться его воле и разваливаюсь на части. Одна, крупная, доля моего существа остается неприкосновенной, сохраняет порядочность, как я ее понимаю, исповедует человеческое достоинство, прячет себя подальше от бесовского наваждения, от посягательства, временами иронизирует над собой, смотрит со стороны и обогащается опытом. Другая, совсем незначительная, долька меня уступает, попадает под власть, которая уже явно становится неограниченной. Хуже того, эта слабая частица усердствует, предлагает себя, опережая спрос. Думаю, эти уступки по крохам ничто иное, как самозащита, она не приведет к большим угрызениям совести. В целом я ведь остаюсь верным себе, это всего лишь тактика, введение в заблуждение, основа — неприкасаема...

Но позвольте, кого в этом кабинете вводят в заблуждение?

Где-то стучит метроном, отмеривает отчуждение или присвоение.

Тело томится в неподвижности и вместе с тем спешит в разные стороны, похоже на старый фильм, снятый рапидом. Как бы пряча голову, присматриваюсь к стрелкам расписного циферблата на моих аляповатых часах, с изумлением наблюдаю, как перемещается минутная стрелка. Да, да, именно минутная, а не секундная. Было двадцать один час три минуты, на глазах стало — четыре, пять, шесть. Вскоре минутная стрелка станет обгонять секундную. Жутко. Чтобы не сдвинуться разумом, надо затолкать часы под рукав и не слушать стук метронома. Иначе не устоишь и сойдешь с ума не от ужаса, а от кричащего бессилия, от чего-то из кошмарного сна, вроде: человека недоумершего заколотили в трухлявый гроб и спускают в яму; там, за крышкой, немо причитают плакальщицы, переругиваются пьяные могильщики; человек не слышит, домысливает весь ужасный ритуал, пытается помочь себе — не может, тогда пытается проснуться, но это уже не сон... Потеряешь рассудок в оцепенелом состоянии спешки, в сладком до боли возбуждении, эйфории, что ли. Душа облегчится, умом охватишь все разом, взгляд пробуравит твердь, и вот-вот начнешь видеть сквозь грунт. И полюбишь все, что окружает: кабинет без единой лишней детали, собеседника, который на поверку оказывается своим в доску парнем. Он во всех проявлениях

характера намного достойней тех настороженных, припугнутых, задоенных и озлобленных молодых людей, которые окружают тебя ежедневно в местах общего пользования, в коридорах и на репетициях.

Квадратную комнату в сером доме не хочется покидать. Тут ясность, этикет, равновесие. И безопасность. Во всяком случае, находишься в самом страшном месте, и дальше хуже быть не может. К добру ли, к худу ли, но человека видят здесь насквозь, понимают, стараются помочь выбраться из той трясины, в которую втянули коллеги, доброжелатели, любовь... Женя...

— А мы вам поможем в продвижении...

Безусловно, это повторялось немо, как глас плакальщиц и матюки гробокопателей, — вслух не произносилось. Если покопаться в очумевшей памяти, можно отыскать слова Сергея Павловича о том, что не помешало бы нам, равнокультурным, равнопорядочным людям, объединить усилия в борьбе с недоумками, с той небольшой частью населения, что не умеет определиться в жизни, шебуршит, вредит и людям, и себе. Короче, привлечение к достойному секретному сотрудничеству. Нашлись увещевания и угрозы, превратившие разовый, ни к чему не обязывающий визит в длительную порочную связь, привели к проституции на общественных началах.

Лучше все это опустить, лучше продолжить

отношения с того момента, когда купля-продажа уже свершилась, купчая в кармане.

С кем-то другим совершили сделку, а теперь уже заместитель того, другого, продолжает операцию. Заместитель вроде бы и не виноват в сговоре, не присутствовал при шантаже, он пожиная чужие посевы, тянет ляжку вынужденно, подменяя действительных виновников, оставить ее не может, ибо коней подобрали до него, средства вложены, на ветер не пустишь. Посторонний, без обертонов, голос, знакомый с детства, наверное, мой, — звучит, бьется о правую стену, потом о левую, возвращается и возвращается:

— Ради Бога!

Слово к делу не подошьешь, со временем забудется. Вежливая в мелочах уступка, тропинка на широком лугу. Форма вполне соответствует издавна занятой позиции, частное соглашение, не более, безусловно, разовое, одно из проходных однодневных решений.

Чем заурядней согласие выражается внешне, тем болезненней протестует душа, и чем яростней возмущается внутренняя, большая часть существа, тем упрощенней, самоотверженной гремят слова согласия. Доходит до того, что я сам лезу в петлю. Антошина деревенская бабушка определила бы: без мыла в задницу. Пойми после этого собственную психику, пойми и совладай с нею.

Адам и тот торопится, теряет от такой внезапной и легкой победы. Не было у оперативника весомых улик против такого с виду стойкого, развитого молодца, и усилий чрезмерных не прикладывал, не давил, и вдруг — такая виктория. Как профессионал своего дела, Сергей Павлович, естественно, не мог не знать, что жертву для него готовили тридцать три с половиной года бытия этой персоны в наилучшем из обществ, при полнейшем противоречии между словом и делом, в угаре селекции бездарностей и холуев почти на все руководящие должности, в гаме невежд-мыслителей и косноязычных ораторов, в повседневном труде на чужого дядю, в полной зависимости от не избранной тобой тети, от клятвенных заверений и легких, бесстыдных отречений, от... от... Гражданин давно созрел либо для отчаянного восстания, либо для всякого бульона, какой из него пожелают изготовить. Знает это Адам или не знает?

Адамов готовят другие учителя, список обязательной литературы предлагают иной, между прочим, и хлеб-соль на стол подают не те, и стипендия несколько выше.

— Вы подумайте... подумайте до завтра.

Молодому службисту не нужна столь скорая победа. Наставник его, патрон или шеф, как его тут величают, разумеется, сидит в соседнем кабинете,

рядом или над головой, следит при помощи современной телевизионной и радиотехники за работой своего подопечного. Наверняка хотел бы видеть незаурядную дуэль: резвость и маневренность косули, а также изысканную ловкость и мертвую хватку молодого волка. А еще: чтобы клиент проявил стойкость, твердость убеждений и редкое в наше время чувство собственного достоинства. Чтобы его можно было уважать. Пусть бы свое первое или там одно из первых дел его подопечный проиграл, вернулся ни с чем. Наставник имел бы возможность сделать ряд замечаний, пожурить ради формы молодого, начинающего хищника или там охотника за душами, но потом пришлось бы шефу признать: «Крепкий орешек вам попался, лейтенант. Оставьте его в покое. Пускай и такие размножаются во имя сохранения породы».

И позже вспоминал бы, рассказывал бы вечером другу по ремеслу, дома жене или на явочной квартире, иногда приспособляемой для личных нужд, в антрактах, перекуривая, развлекал бы любовницу. С изумлением и похвалой поднимал бы глаза горе: какого парня встретил среди обыденной массы! Непробиваемый. Утолил давнюю тоску по личности. Мужчина!

Можно не надеяться, такого про меня никто не скажет. Во рту накапливается горечь.

Неизбежный и односложный результат, можно было соглашаться в первую минуту и не убивать время. Давно бы поужинал.

— Заходите завтра, в восемнадцать.

О возможной моей занятости забывают. Усложняют задание:

— Не помешали бы некоторые доказательства. Принимать буду не один я.

...Тут опускают и требуют доказательств любви...

3

С чем явиться в серый, забранный в чугунные решетки дом?

Вещественные доказательства должны быть убедительными не только для Адама, но и для того парня, с которым он будет принимать меня не один. И в то же время не слишком унижительными для меня, все-таки Вилавы. Такой характер, очертя голову бросаюсь в проигрышную затею и при этом расчищаю хоть клочок плацдарма для отступления. Расхожее выражение звучит: хорошая мина при плохой игре. Уместней и совсем обнажающе подходят слова Антошиной бабушки: скрытный песик, укусит и зубки спрячет. Отвратительная черта, однако опыт свидетельствует, что она наиболее практична. К тому же меня не покидает